

Воспоминания Юлии Сигизмундовны Фель

Итак, она была дворянкой

Девичья фамилия моей мамы была Танаевская. Происходила она из польских дворян. У меня и сейчас хранится долговая расписка, где ее отец пишет: «Дворянин такой–то обязуется отдать две тысячи рублей Юлиану Томашевскому». У них были поместья в Литве и рядом с Литвой. Но детей в семье было много: пять девок у него и два сына. Поэтому, хоть и звались родители матери помещиками, а работали, и мясо ели только по воскресеньям. Фамилия отца – Фель. В Вене, откуда он был родом, она встречается очень часто. Отец – немец, военный врач. В первую мировую войну он был взят в плен и попал во Владивосток. У меня даже карточка была: «Врач–гинеколог Фель принимает». При аресте я очень просила, чтобы у меня ее не отбирали, но напрасно все. В Вене у него оставалась первая жена. Мама рассказывала, что он писал ей: «Ты меня теперь не жди, я обратно не вернусь». Изъяли при аресте и фотографию, где мама снята с первым мужем. Он в эполетах, военный, рядом моя старшая сестра Аня, еще маленькая, и брат мамы. Жаль, что и этот снимок не вернули.

Классовая борьба обостряется

Одним словом, росли мы в городе Владивостоке без отца. Мама работала преподавателем, пианисткой, знала пять языков. Но, как узнают, что она жена офицера, ее отовсюду снимают. Полы мыть она не приспособлена была, но хотела устроиться хоть уборщицей. Так ведь не смогла. Когда Ане было лет 16, она устроилась сначала работать на краболове, потом делопроизводителем в суде. Но зимой 31-го забрали сначала маму, а через несколько дней и Аню. Аню быстро отпустили, и она сказала: "Юля, в трехдневный срок мы должны уехать"? Мама писала нам из тюрьмы: "Возьмите сундук с вещами". Сундук из приданого был очень велик, и Аня его брать не стала, а вместе с мебелью оставила на хранение у знакомого по фамилии Савицкий. По-моему Вячеслав его звали.

Нас отправили в Сибирь, сначала в Новосибирск, потом в Томск. В Томске на "шестой точке" мы видели маму, которую везли этапом. Потом ее отпустили и дали ссылку: три года в Кожевникове, что на Шегарке. В этой маленькой деревушке было много ссыльных из Владивостока. Часть детей они взяли с собой, часть оставили на родине – как уж сумели. Аня писала Савицкому, чтобы выслал вещи. Он ответил: "За пианино не ручаюсь, а вещи вышлю". Но больше писем от него не было. Может, его и самого забрали. Тем временем нас обокрали, мы бедствовали, даже по миру ходили. Не приспособлены мы были к той жизни, и ничего-то у нас не было. Тогда мама и решила отправить Аню во Владивосток за вещами.

По всей строгости революционных законов

Аня поехала. На дорогу мама дала ей хлеба с полынью и килограммов восемь муки: "По дороге, может быть, спечешь где-нибудь лепешки". И Аня отправилась в дорогу вместе с мужчиной, который ехал во Владивосток за детьми. Когда они приехали на обскую пристань, там как раз шёл повальный обыск. Ей ткнули в мешочек с мукой: "А у тебя что такое? Куда везешь?" Она боялась признаться, что едет из ссылки во Владивосток, потому что была под комендатурой, и не нашла ничего лучше, как ответить: "Мы голодные и холодные. Хочу продать муку, чтобы купить теплые вещи". Ее за это забрали и дали десять лет. Запрещалось тогда мукой торговать.

Услыхали мы с мамой об этом месяцев через восемь. Приезжаем в Кожевниково на Оби в тюрьму. У нас к тому времени уже лошадь появилась, но снялась с узды, ушла, пропала, и мы пешком эти 120 километров до Кожевникова дошли. Аня из тюрьмы нам кричит что-то, но мы ничего не слышим. Так и не дали нам свидания.

Потом она отбывала срок в разных местах. Из Мариинска она написала, что тяжело заболела тифом, и мы с мамой отправились туда. Мне в это время лет 11 было. До Мариинска мы не доехали 24 километра, когда нас ссадили на какой-то станции. А зима! Как пешком идти в соломенных обутках деревенских? Валенки-то у нас не было. Но погрузили нас на какую-то цистерну, и доехали мы до Мариинска. В лагерную больницу к Ане пустили только меня. Помню, когда ей принесли покушать, я с жадностью смотрела на этот суп и глотала слюну. А мы привезли ей немножко сухариков, потому что ничего другого у нас не было. Раза два-три была я у нее. Анина подруга дала нам мыло и тапочки тряпичные для мамы, и обратно мама шла в этих тапочках. Мороз был, на станциях много народу, завшивленность ужасная. Кое-как мы приехали в Томск, а никто нас на ночлег не пускает, потому что и по нам вши ползают. Я говорю: "Мама, давай до Городка дойдем". Но и в Городке нас никто к себе не пускает. Наконец, одна женщина за кусочек мыла впустила. Потом пешком мы дошли до Богородского, и там мужчина, который вез жену в Томск в больницу, сжалился надо мной и дал мне валенки и шубу. Приехали мы домой, а у нас жутко холодно. Тогда я и заболела сыпным тифом.

Добрая воля "Принудработы"

И вот рядом со мной маленькая дырявая железная печечка с выведенной трубой, какая-то кухня на два окна с изрубленным полом, где варят пойло для свиней, изрубленные стены, а от русской печки остался один фундамент. Оказывается, везде нас выгнали с квартиры из-за вшей. Чтобы было хоть немного теплее, мама положила меня под самый потолок. Никто к нам уже не приходит, зато нашлась лошадь. Пришел ее бывший хозяин и говорит: "Я ее

видел. Ее "Принудработа" взяла". Военные из "Принудработы" нам ее отдали сразу и беспрекословно. Так вот, когда я заболела, мама запрягла лошадь и поехала в Боборыкино к врачу. Сказала, что сама жена врача, но ведь ничего не заплатила, и местный врач дал ей два порошка аспирина для меня, да тем и ограничился. Едет она обратно, навстречу какой-то мужик. Как дернет свою лошадь и врезался нашей лошади прямо в ноздри. Она упала и сдохла на дороге. Приходит мама домой уже ночью, а я напугана: "Мама, мама! Петух разбил окошко!" "Ладно-ладно, Юленька, я сейчас сеном заткну." Заткнула сеном, так и зимовали.

Потом люди добрые нашлись и говорят: "Георгиевна! Отрубите лошади голову". У нас в соседях была хорошая женщина – вдова. Ее не "кулачили", потому что на попечении у нее было много ребятишек - и своих и чужих. Был у нее старик - брат. Поехали они, ободрали эту лошадь, мясо бросили, а голову на чердак положили. Весной мама пешком отправилась в "Заготскот" и потащила туда эту голову на экспертизу: установить, отчего лошадь сдохла. С собой она меня взяла. Пришлось ей очень трудно. Идти я не могла, потому что после сыпного тифа у меня болело сердце, я ничего не кушала после того, как всю зиму пролежала в ужасных условиях, когда вода в кадке замерзала. Если мама полешко где украдет, так подтопит немножечко. В общем я - в крик и идти с ней отказалась. Мама меня уж ругала-ругала, но все равно я вернулась обратно.

Дала экспертиза заключение, что лошадь сдохла от носового кровотечения. Идет мама как-то по деревне, встречает того человека и спрашивает: "Что ж ты мою лошадь убил?" Он отвечает: "Георгиевна! Меня Бог наказал. У меня 19-летний сын поехал объезжать молодого жеребца, упал, ударился о березу так, что мозги разлетелись. Подай на меня в суд". Мама подала в суд, оценила ущерб, половину цены ей и присудили. У нас появились деньги, и мы смогли посеять немного пшенички, которую нам дали. Сердобольная женщина дала нам три сотки земли, и у нас появилась телка. Но ненадолго. Телку украли, и мы опять остались ни с чем. Ладно. Появилась у нас корова, убежала, провалилась в погреб и сдохла. Весной только нашли ее, а голод ужасный был. Год шел 1934-й. Люди дохлых лошадей ели. И мама вытащила корову. Животина по сути дела здоровая была. Она свернула шею, когда в погреб провалилась, и задохнулась. Туша замерзшая была, только кровь не спущена. Помогли маме, посолили мясо, покоптили. Мама его людям потом раздавала.

О пользе Всеобуча

Учиться я пошла поздно. В Кожевникове кончила четыре класса, а в пятый класс пошла в Боборыкине. Два года у меня был перерыв, потому что с мамой ходили по деревням, ради Христа просили. Надо было жать, полы мыть за маленькую краюшку хлеба. А по миру ходили летом, кусочки

собирали. Тут Аня вернулась! Она написала жалобу, видать, Крупской, и Крупская дала освобождение. В шестом классе переехали мы в Кожевниково на Оби. Там я окончила среднюю школу и в 1941-м году поступила в Томский медицинский институт. Обучение тогда было сокращено в связи с войной и длилось три с половиной года. Потом добавили еще полгода, и я бы кончила, но в 45-м меня арестовали с пятого курса.

Так нужно было Господу. Без воли Бога ничего не может быть, и все судьбы наши Господь решает. Я верующий человек, баптистка. Уверовала я 17-ти лет. Мама была католичка, но ходила она в православную церковь, а потом и на наши собрания. Училась я в институте, но среди верующих очень активной была. Был у нас хор небольшой, и я в нем пела. Им надо было меня арестовать. В то время религию очень преследовали, тем более баптистов. Если в православную церковь пойдешь, там нет членства. А тут ты сразу на карандаш попадаешь. Община хорошая была, но в 37-м их забрали много. Мы иногда устраивали собрания, которые назывались "Вечер любви" и были чаепитием. У кого что есть: кто по рублю сбросится, кто по десять, кто капусточки принесет, кто морковки... Не было сахару, зато патока находилась, и был все-таки кусочек хлеба. А у нас в ТМИ были студентки, которых приходилось немножко подкармливать. Верно: трудно было и нам жить. Аня работала телефонисткой на центральной почте, мама не работала нигде. Но выход находили. Между тем начали отпускать на родину местных поляков, и один из них мне говорит: "Юля, давай фиктивный брак заключим, и я тебя в Польшу увезу и устрою там". Но я от мамы уехать не могла, а мама от меня в Литву не уехала с тетками, хотя те ее сильно тянули.

Когда я училась в институте, до третьего курса у нас была та самая лошадь, которая терялась, и я работала на этой лошади. Прибегала я из института и ехала на "Карандашку", покупала там чурочку или дощечку, ехала по городу и каких-нибудь 15 рублей себе зарабатывала. Но в 43-м лошадь снялась с узды, ее поймали татары и нам не отдали, хотя мы с ними судились. Говорят: "Она у нас сдохла. Не получишь свою лошадь". У нас были на нее все документы. Вот посмотрите: "Принудработа", то есть власти отдали беспрекословно, а татары не могли отдать! Мы ее увидели на базаре, и она заржала сразу. Соседи нам рассказали, что она в Тохтамышеве содержится. Но ничего не смогли мы сделать. В 43-м, уже на третьем курсе, устроилась я работать бригадиром на железнодорожную ветку, которая проходила от ГРЭС-2 до Черемошников, но через три месяца ее ликвидировали, и у меня нет даже документов с этого места.

Сгубила доброта

Училась вместе со мной девушка Шура и была она круглой отличницей. Всегда такая замкнутая. Я видела, как она держала в кулаке брюкву или редьку и крадучись ее ела, чтобы не увидели другие студенты. Я говорю:

"Шура, пойдем к нам на собрание. Ты хоть покушаешь". И она стала ходить к нам на собрания. У меня до сих пор ее фотография хранится. А я и не знала, что она была комсомолка. И вот эта Шура однажды говорит мне: "Знаешь что, Юля? Я не стала платить членские взносы в комсомол". "Почему?" "У меня нет денег". "Ты плохо делаешь, что не платишь. Надо платить, Шура, раз ты комсомолка. Они знают, что ты со мной дружишь и ходишь иногда на собрания. Скажут: это Юля тебя заставила не платить взносы". Она: "Ну, как! Кто меня заставит!" И на этом разговор у нас кончился. Потом она опять говорит: "Ой, опять в колхоз посылают. А у меня босоножки и те порвались!" А я со своей добротой (вот эта доброта меня и сгубила) говорю: "Шура, я слышала, у нас отправляют студентов на шахты работать и дают им обмундирование: и обувь, и спецодежду. Ты напиши заявление, что в колхоз не в чем ехать." Она: "Ну, кто мне что даст!" Я ей: "Ты скажи, что тогда не поедешь – не в чем. Пусть они тебе тапочки для колхоза дадут". Всё! Что было дальше, к тому еще вернемся.

В 39-м или 40-м всех моих теток и бабушку тоже из Литвы выслали под Барнаул. Старший брат успел убежать в Польшу, а младший пришел и говорит: "Я маму не брошу!" Он неженатый был, по специальности агроном. В 41-м я к ним туда поехала. Жили они в бараке, выполняли тяжелую работу, и в то время еще жива была моя бабушка, тоже высланная вместе с ними. Приехала она в Сибирь с двумя незамужними дочерьми и неженатым сыном. Из-под Барнаула выслали их в село Кукуй, тоже на Алтае. Дядя мой шил там хомуты. Умер он на глазах у своей матери от столбняка в жутких мучениях, когда его отказались везти к врачу в город. Бабушка вскоре тоже скончалась, а тетки потом у мамы жили, без паспортов в Томск из Кукуя бежали, пока не разрешили им вернуться в Литву в отчий дом, совсем разоренный, то увез, и тетки попали в кошмарнейшие условия, хуже, чем в плохом коровнике. И мама, и я с мужем их на своем иждивении содержали, пока последняя не умерла.

Арестовали меня 29 сентября 1945-го и предъявили обвинение по статье 58-10 ("Агитация против Советской власти в военное время"). Я уже проповедовала с кафедры. Я вам один факт расскажу, как они мое дело фальсифицировали. Я со второго курса два года подряд подрабатывала еще в колхозе и на три-четыре месяца опаздывала на занятия. Я честно работала в одном и том же колхозе. И лен дергали, и мешки поднимали, жали – чего только ни делали! Я студентов агитировала: "Поедете со мной в этот колхоз?" И со мной пять девчат ездили и один парень. Война шла, но мы не голодали. Председатель давала нам картошки, по 50 граммов мяса, молочка пол-литра, немножко муки, а потом пшенички по мешку мы заработали. Страшно говорить, как мы ее до Томска везли. Очень тяжело, конечно, было. Но все равно жилось немного полегче, да и могла я чуть-чуть помочь таким, как эта Шура. А с ней мы не раз беседовали. Она говорит: "Почему ты так веришь – на что надеешься?" "На вечную жизнь, в то, что Господь, когда

верующий человек умирает, берет его душу, и будет ей там очень хорошо. Она будет созерцать образ Христа в вечном блаженстве". "А которые неверующие?" "А для неверующих написана другая участь: вечные мучения". Ну, и всё. Что тут антисоветского? Так они меня потом обвинили, что я Шуру отговорила от работы в колхозе, что из-за меня она не стала платить комсомольские взносы, и что я сказала, что коммунисты и комсомольцы погибнут. А это статья 58-10 ("Агитация против Советской власти в военное время").

Одно из двух!

А потом была очная ставка. Шура показывает: "Юля так не говорила". Как мой следователь Кабанов на нее кричал при мне, как ее запугивал: "Фель мы выпустим, а ты сядешь! Вот тебе и будет конец твоей врачебной карьеры! Фель будет на свободе, а ты в лагере!" И Шуру вывели. А когда был суд, смотрю, она сыплет на меня его слова. Я говорю: "Ну, хорошо ты свою роль выучила!" Что я могла еще сказать?

Суд был закрытый. Твердили они одно и то же: что я против комсомола. Был в деле еще один эпизод. Идут девчонки, и моя знакомая Аня, дочь верующих родителей, говорит: "Ой, Юля, я покаялась, какая у меня радость! Христос простил". Я говорю: "Да знаю. У меня тоже такая радость была". А Аня продолжает: "Знаешь, Юля, а я подала заявление в комсомол". Я ей: "Но тебя из комсомола выгонят, если ты будешь ходить на наши собрания, правда? Я думаю так: или комсомол или быть верующей. Одно из двух! У тебя родители верующие, ты поговори с ними". Аню забрали вперед меня, не знаю уж, по какому поводу. И ее сестру тоже." Мне уж потом передали их слова: если б не Юля, они бы не сидели. В общем забрала тогда Анька заявление из комсомола и крещение приняла. Это они мне и вменили. Но я ведь не сказала: забирай заявление! Не езжай в колхоз! Не плати взносы!" Но им нужно было меня взять в обязательном порядке.

Заботами мамы и генпрокурора

Дали они мне пять лет. До суда я находилась во внутренней тюрьме на Иркутском тракте. Там над окнами были специальные черные зонты, и из-за них видно только небо. Потом отправили меня в Асино. Там я была на общих работах, потом работала по специальности, пока не переправили меня в Итатку. Дело в том, что я попала в немилость к оперуполномоченному. Он сожительствовал с одной заключенной-врачом, а наша заведующая Евгения Абрамовна Коган, вольнонаемная, еврейка, таких вещей не терпела. Меня она очень любила, потому что с мужиками я не связывалась, и меня прозвали "еврейской фавориткой". Опер тот меня гонял-гонял и на общие работы отправлял на "шестую точку" в Томске. Но ничего. Мне и там дали врачебную работу – я хирургический прием вела. В Итатке лагерь был

тысячи на три человек, и контингент там содержался очень разнородный. Жулья было очень много, а 58-ой статьи очень мало. В Асине больше политических было.

Тем временем моя мама написала жалобу на приговор, который мне вынесли. В это время еще Берия был, а генеральным прокурором какой-то Сафонов. Я говорила: "Мама, не пиши ты жалобы! Не надо мне никаких защитников. Раз меня Господь сюда послал, значит, я должна быть здесь". Я твердо в это верила. А на жалобу протест Сафонов написал, что мало мне дали. Пересуд! Задают мне вопрос: "Вы по-прежнему остаетесь при своих религиозных убеждениях?" Я отвечаю: "Да, остаюсь!" И мне в 1949-м десять лет вкатили вместо пяти.

Отправили меня опять в Итатку к уполномоченному, который надо мной издевался. Приехала я туда с тяжелой формой желтухи. Главврач Коган сказала на счет моего второго появления: "Забрали у меня хорошего врача, а эта Долгих торчит тут, сожительствует с оперуполномоченным Биркиным, а толку от нее мало". В конце концов и Долгих отправили на "шестую точку". Там мы и встретились. Потом она у меня прощения просила и написала Биркину: "Мы встретились с Юлей, она меня накормила и взяла на свою койку". Когда прибыли на Итатку опять, Биркин и говорит: "Все-таки какая ты хорошая, действительно христианка. Мне Анастасия Прохоровна написала, как ты ее приняла и накормила. А если бы я встретился?". "И вас бы приняла. Я не держу на вас зла".

На Итатке я пробыла до 1950 г., потом попала в Кемеровскую область, забыла уж, где этот лагерь был... Там я тоже работала врачом, потом хирургом и медсестрой. Оттуда всех женщин стали увозить этапом в теплушках. Холодно, зима... Довезли нас до пересыльного пункта в Новосибирске, и попали мы оттуда в Ташкент. Там я тоже врачом работала. Помню, сильно заболела тогда воспалением легких. Как узнали, что я верующая, сняли меня с врачебной практики, но потом, Господь дал, обратно поставили.

Прожила не напрасно

Не жалею, что была в лагере. Там тоже нужно было кому-то проповедовать. Знаю, что в Ташкенте очень много людей уверовало и церковь там разрастается. Это был план Божий. На меня "куда следует" всякая всячина написана была: что я, например, против службы в Красной Армии и возвожу клевету на Сталина. Началось новое следствие. Я все подписывала, хоть ничего этого на самом деле не говорила, потому что думала: "Христос молча страдал, и я буду". Но менялись времена, и оставили они меня в покое, как ни странно.

Просидела я 9 лет, и оставалось мне до конца срока месяцев семь-восемь. Тут меня и освободили... по двум третям (!) от моей десятки. А почему так получилось? Тоже из-за веры. Как-то главврач вольнонаемный задает вопрос: "Доктор, а вы молитесь?" Я говорю: "Конечно, молюсь". И кто-то меня продал. Потом спрашиваю главврача: "Анатолий Евгашевич, что такое? Всех отпускают, а меня – нет." Он говорит: "А зачем вы сказали, что молитесь? Начальнику донесли, и он сказал: пусть сидит дальше. А если кто-нибудь от нее уверует, второй срок ей дам!" А уверовали от меня многие. Ладно, думаю, буду сидеть. Но вскоре выпустили меня, и я вернулась в Томск к матери.

Документы из института у меня сохранились, я их послала в Москву, и меня восстановили на четвертый курс с досдачей госэкзаменов за второй курс. Но меня местные на третий курс зачислили из-за несданной политекономии. Я опять в Москву обращаюсь, а они пишут: "На местное усмотрение". Ну, куда деться? Диплом нужен - или фельдшерский или врачебный. Подчинилась. С третьего курса я и училась, и работала медсестрой в первой поликлинике Томска. Мне медицина всегда нравилась. Как кончила институт, так и осталась там и 22 года проработала участковым терапевтом.

Литовское послесловие

А в Литве свой век мои тетушки доживали. Повезло нам, что у меня еще с лагеря была знакомая из Литвы. С ней ко мне в Итатку приезжала моя мама. Доводилась эта женщина женой одному заключенному, который немножко свихнулся. Я его старалась отправить на психобольницу, думала, что психиатры его актируют. Потом уж узнала, что пробыл он там немножко, и послали его, полуненормального, отбывать срок дальше в какую-то деревню, где он и умер. Потом жена его в Литве похоронила.

Но знакомство состоялось, и однажды я получила письмо от дочери той женщины. Она тоже уверовала, и я с ней стала переписываться. Когда я поехала навестить своих тетушек, мне хоть было где остановиться в Вильнюсе. А помощь там еще как требовалась.

Иду в 56-м по Вильнюсу, когда в первый раз приехала, навьюченная, хочу еще теткам хлеба купить. Спрашиваю прохожих: "Где магазин хлебный?" "Не знаем, не понимаем". В общем, не хотят литвины отвечать. Потом уж девочки-школьницы мне сказали, где магазин. Захожу туда и слышу, как поляки "пшикают". Я подхожу к ним и говорю по-польски: "Панове, возьмите мне крупы. Я приехала из Сибири, у меня тут старые тетки в Лавренишках, им не на что есть. А дают только по одному килограмму крупы. Может, вы встанете в очередь, возьмете для них крупы, лапши..." "Зараз, проше пани!" Встали в очередь и набрали мне килограммов восемь. Видите, как поляк поляка-то выручал.

Тетки мои жили в ужасных условиях. Никто из них замуж не вышел. Полдома колхоз куда-то перевез, а что осталось, плохо походило на жилье. Мы с мужем чуть ли не каждый год ездили к ним. Он был неграмотным, но человеком прекраснейшим. Очень Зита помогала. Она на собственные деньги к ним ездила. Когда тетя Ванда заболела и лежала вся в гное, Зита ей промывала раны. Последней умерла тетя Лижунька, которая на старости лет имела ужасный характер. Ее посчитали сумасшедшей и хотели отправить в Дом инвалидов. Я писала председателю колхоза, чтобы ее не трогали, иначе она просто сбежит оттуда. Ездила к председателю и Зита. Он литвин, и она литовка. Поговорили они по-литовски, и мою Лижульку оставили в покое до самой ее кончины. Мало того, корову взяли и носили ей молоко, потому что сама она скотину держать не могла.

Вместо эпилога

Воспоминания эти Юлия Сигизмундовна Фель наговорила на диктофон перед самой своей смертью, будучи тяжелой раковой больной. Никаких иллюзий насчет своего будущего она не питала, но держалась с исключительным мужеством. Бравший у нее интервью историк Томского общества "Мемориал" и одновременно руководитель местного центра польской культуры "Белый орел" Василий Ханевич свидетельствует, что беседу дважды пришлось прерывать, но придя немного в себя, Юлия Сигизмундовна продолжала рассказ, с редким артистизмом, в лицах представляла героев своих воспоминаний, смеялась и шутила. От нее исходила аура доброты, даже когда она упоминала откровенных злодеев-душегубов. Вскоре она скончалась. Произошло это в 1995-м году.

Воспоминания обработал Николай Кашеев.